

**Виктор Демитриенко**

## **ПОТАПЫЧ**

*Рассказ*



***Виктор Анатольевич Демитриенко** родился в 1960 году в Воронеже. Окончил исторический факультет Воронежского государственного университета. Работал редактором редакции общественно-политической литературы Центрально-Черноземного книжного издательства, главным редактором «Русского провинциального журнала «Воронеж», ряда других изданий и книжных издательств. Автор и соавтор очерков, книг историко-краеведческого, биографического и научно-популярного характера. Живет в Воронеже.*

В одном селе жил-был старик. Звали его Потапыч.

1

До войны ничего, справный был мужик: пил в меру, в колхозе ишачил — рубахи от пота истлевали; да и на плечах не кочан капусты носил — слово его уважали. А как в сорок пятом, победном, домой вернулся, словно подменили человека. Что с ним война сделала?..

Жена его в сорок третьем, как похоронку на сына получила, слегла от горя — сын-то у них единственный был, — а вскоре после войны и умерла. Похоронил ее Потапыч, погоревал на могилке — с тем и остался на белом свете.

Дом его на порядке был не крайний, но жил Потапыч будто на отшибе. Родственники в лихолетье военное все померли, а в гости он не заходил. Да и его гости не шибко жаловали — нелюдим стал. Ни с кем дружбы не водил, на свадьбах да на похоронах не бывал, мужицкие поделки без него обходились. Люди поговаривали: от контузии это, от фронта.

Он так и остался бобылем. Хоть и поглядывали на него многие солдатки: мужик, пусть и контуженный, — все одно мужик, а в хозяйстве, в семье как без него? Да зря бабы рядом да около дорожки топ-

тали — Потапыч как стеной отгородился. Кто на язык позлее, видя это, по углам судачил: Потапычу, мол, бабы теперь ни к чему — все оружие на войне растерял. А кто пожалостливей да сердобольней, вздыхали: од-нолюб он.

## 2

Время катилось обычным своим чередом — лето сменялось осенью, по-волчьи завывали в трубах зимние метели, весело трещал по весне лед на реке.

Своим чередом шла и жизнь Потапыча. Годы потихоньку состарили его, иссушили, к земле гнуть начали. Но силенка в нем еще была — старик хозяйство кой-какое держал: корову, десятка полтора курей, в иной год — и поросенка добавлял.

Отработав до положенного срока, Потапыч вышел на пенсию. Раз в месяц навещался на почту, получал свою пенсионную «сороковку». Оттуда заворачивал в сельпо — покупал мыло, спички, керосин, пару «белоголовок» прихватывал; обычно ни с кем не разговаривал, торопился поскорее уйти. Точно вину какую чувствовал перед людьми. А может, еще что...

## 3

Последнее время Потапыч прихварывать стал. Зиму еле протянул. К весне вроде ожил, по хозяйству потихоньку копошиться начал. А летом снова занедужил так, что и вовсе слег. Однажды утром, проснувшись, с кровати не смог подняться даже до ветру сходить. И понял старик, почему: отгулял он свое.

От этой мысли защемило у старика сердце. И тут вдруг почудилось ему: стоит кто-то у него в ногах. Пригляделся — старуха, что ли? На ко-совище длинное оперлась, сама вся в черном, а над головой вроде жало поблескивает.

«И вправду, вот она, смерть. Не успел подумать — уж тут, ждет. Не ошибся, значит».

Старик с трудом приподнялся на одном локте и, глядя на черную старуху, прохрипел:

— Чего ж в ногах стоишь? Пришла — забирай, вот он я.

Никто ему не ответил, старуха не шевельнулась.

Потапыч откинулся на подушку, перед глазами у него заплясали разноцветные огоньки, а в уши раскатистым громом ворвалось мерное тика-нье настенных часов: тик-так, тик-так, тик-так. «Это же ходики, — успел подумать он, — надо бы подтянуть цепочку, а то встанут. Но почему они так грохочут? Грохочут... почему?..» Теплая, липкая слабость завладела его телом, тонкая паутина мыслей оборвалась и, свиваясь в клубок, увлекла его в забытие.

«Жил ты, Потапыч, на свете долго, а — чего жил?! Жизнь моя, что она? Перешибленная, переломанная. Разве я ее по-настоящему видел? Шла по дороге, ан свернула на обочину да наперекосяк заковыляла. Боже милостивый, за что, за какие грехи судьбу такую положил мне? Честно я жил, старался все по-людски. За правду душу и жизнь сгубил, а — правда ль то была? Теперь на суд к тебе приду — может, ты меня успокоишь?..

Души райские ни болести, ни сраму не имут — светло им, покойно. Дашь ли мне то же? За жизнь, что почти как в аду я прожил, за то, что мукой непрерывной истерзал себя? Освободи меня, Боже, прошу тебя, если есть ты, если горе человеческое твоему сердцу близко — освободи, сними непосильную ношу. Дай забыть все, заснуть, ничего не помнить, не видеть, не слышать — ничего, ничего.

Одна радость у меня была — сынок! Сильный, красивый, все девки на селе заглядывались. В школе в первых учениках ходил. Даже стихи писал. Не признавался, правда, да я-то уж знаю. И говорить умел складно — будто книжку читал. Эх, сынок, сынок... Ты здесь, сын, рядом? Слышишь меня? Поломал я жизнь свою, сам поломал, порушил — не мог против совести пойти. Ты слышишь, сын? Ты меня слышишь — я знаю. Знаю... Давно мы с тобой не говорили, ты уж прости меня, старого — болести одолели... Ну да ничего, скоро отмучаюсь! Ты здесь, сын? Сынок?»

«Здесь, отец...»

«Я же знал, знал. Не покидаешь ты меня. Скоро уж мы встретимся, а то я долго что-то здесь задержался. Мы с тобой теперь всегда будем вместе, и ты не покинешь меня».

«Хорошо, отец. Я всегда буду с тобой».

«Нам вместе будет хорошо! Только ты прости меня, сын. Виноват я».

«Ну что ты, отец, не плачь. Не надо. Нет у тебя вины передо мной, это я все сгубил. А ты... Не мог ты иначе поступить! Ведь не мог же?»

«Не знаю, сынок. Не знаю. Столько лет мучаюсь, сердце словно ржа разъела, а — нет в нем правды. Не сыскал я ее, сынок. Не лукавлю, видит Бог, — не сыскал».

«А что люди, отец?»

«Люди-то? Люди... Не пошел я к людям, сынок. Не поверил. Понимаешь, чужому человеку ношу мою сердцем не поднять — потому и не поверил бы я все равно. А своим сердцем — не сыскал. Не знаю я. Тяжко мне, душою изболелся».

«Отец...»

«Ты знаешь, сынок, я часто вспоминаю, как мы с тобой на луг к реке ходили. Стежка вниз бежит, утро раннее-раннее, зорька еще не погасла, а мы с тобой — косы на плечах — идем, идем. Помнишь: вжи-жик! вжи-жик! Трава густая, сочная. Косы звенят. Портки от росы по колено мокрые».

«Не надо об этом, отец. Я все помню. Я те утра часто вспоминал и даже во сне видел — и луг, и траву. По стежке нашей и сейчас хоть с закрытыми глазами пробегу — каждый поворот, каждый кустик помню!»

«Трава густая, косы звенят...»

«Не надо, отец».

«Косы звенят, роса. И ничего лучше этого больше не было!»

«Отец!..»

«Прости меня, сынок, прости. Сынок? Слышишь? Сын, где ты? Ты ушел?.. Прости меня».

Потапыч открыл глаза. В избе было тихо, только на стене все еще размеренно тикали часы, да еле слышно где-то зудела муха.

А на душе у старика стало легко и покойно. Мыслей горестных ход прервался — он словно забыл обо всем. И даже немощи вроде поубавилось. Тело его вес потеряло, руки-ноги — легкие-легкие стали.

Потапыч приподнял голову с подушки — в ногах у него никого не

было: черная старуха пропала вместе со своей косой. Он вздохнул: «Э-эх, от своего — не уйдешь».

И решил старик напоследок на свет белый взглянуть.

Кряхтя, встал с кровати. Держась за грядущку, осторожно всунул ноги в короткие, подшитые кожей валенки. Постоял минутку, отдышался. Затем сделал два нетвердых шага к двери. На третьем его вдруг будто что-то толкнуло в спину, и он тут же ощутил, как сердце сжало ледяными тисками. Свет померк у него в глазах, ноги подломились, и Потапыч тяжело рухнул на пол, неловко подвернув руку. «Когда-то так уже было, — мелькнула мысль, — но ведь я тогда не умер...» Последнее, что уловило его угасающее сознание, было глухое зудение мухи, бьющейся об оконное стекло.

#### 4

Дверь в избу с резким скрипом отворилась. Потапыч вздрогнул и поднял голову.

Вошла вся в черном старуха.

— Все лежишь?.. — с порога недовольно заговорила она. — Ты пошустрей, давай, собирайся. Дело к вечеру идет. — Она шагнула в угол, попыталась пристроить там косу. — Меня другие ждут.

— Другие и подождут, авось не обидются, — отвернувшись, устало и равнодушно ответил Потапыч. — Ты всюду — гость незваный.

— Ой ли, старик?! Жизнь ты долгую прожил, а ума, видать, не набрался, — презрительно отозвалась старуха. — Иль, скажешь, не бывает такого, когда я желанна, аки невеста в первую ночь? Руки на себя накладывают, на рельсы бросаются, стреляются — как без меня обойтись?!

Потапыч смолчал. Приподнялся на дрожащих руках, сел. Сильно ныло плечо — зашиб при падении.

На улице, как раз перед окнами, густо росла черемуха, запыленные стекла были задернуты занавесками, и хотя время еще было не позднее, в избе уже плавали бледные сумерки.

Кое-как встав, Потапыч проковылял за печь, где стоял широкий, с медью на углах и маленьким замком на петле сундук. Откинув крышку, старик опустился на колени и стал вынимать из его просторного нутра разноцветные лоскутки, отрезки, платяя, выцветшие платки, коробочки с орденами, заботливо перевязанные шпагатом стопки каких-то бумаг. Все это он складывал рядом с собой. Наконец с самого дна достал большой сверток, закатанный в чистую старую рубаху.

Положив сверток на табурет, Потапыч, не разбирая, покидал остальное в сундук. Опустил крышку, нацепил замок. Потом, не оборачиваясь, спросил — глухо, почти не разжимая губ:

— Ты, это... Ну, в общем... Ты вот так прямо и спешишь?

Смерть понимающе-снисходительно усмехнулась:

— Да ты не дрожи, старик. Ты же старый солдат. Умереть — это совсем не страшно.

— А я и не дрожу! — со злостью бросил Потапыч и выругался. — Тебя, что ль, мне пугаться? Не такое видал.

— Но-но-но, — нахмурилась Смерть. — Так уж и не боишься?

— Попариться я хочу напоследок, перед смертью в баньку сходить. По обычаю нашему, чтоб в землю чистым лечь.

— Попариться, говоришь. Хм... — Смерть размышляла: — А другие,

значит, «подождут и не обидются», — передразнила она старика. — Н-ну, ладно... Ладно: топай в баню — подожду, чего уж там. До восхода время у меня есть, да и недалече тут. В общем, иди, парься!

Уже стоя в дверях, Потапыч услышал:

— Эй, старик, может, я тебе вместо попа и грехи отпущу? Будешь и чист, и невинен, как младенец, а?!

Потапыч в сердцах хлопнул дверь.

## 5

Горячий, упругий пар разгонял кровь, проникал в жадно открытые поры тела, сочившиеся потом.

Потапыч уже выбился из сил, хлеща себя веником по бокам, спине, впалым ягодицам, а желанная истома не приходила — какое-то непонятное волнение овладело им. Перебивчиво стучало сердце, взбудораженное то ли резким ароматом кваса с чабрецом, то ли предчувствием чего-то неясного и тревожного. Бросив веник, старик сгорбился на полке, обхватив голову руками: не Смерть-старуха тому причиной — другое, страшнее... И снова старой болью схватило сердце.

Знай он, что помрет жена вскорости, может, и повинился бы ей, да, видать, не судьба была. Отошла она ночью во сне, не мучаясь, — фельдшер сказал: просто остановилось сердце. А Потапыч остался один на один со своей жизнью, со своей совестью. Один на один со своей правдой.

## 6

— Нет, ты мне скажи... Скажи! Что ты такое есть? Зверь ты или человек? Или — нечистая сила? А? Скажи! — Потапыч навалился грудью на стол, едва не опрокинув стопку с водкой, стоящую у самого края, и осоловелыми глазами оглядывал Смерть: — Ты мне ответь! Я хочу знать, что ты за штука такая.

Они сидели уже часа полтора. Потапыч отварил картошки, достал из погреба соленых огурцов и «квашенки». Поставил на стол бутылку «Московской», затем другую. «Для дорогих гостей ничего не жаль», — съязвил старик. Смерть в долгу не осталась: «Это верно! По такому случаю грех не выпить».

Потапыч быстро запьянел. Он уже привык к тому, что Смерть, оказывается, может вот так, запросто, сидеть с ним за столом, чего-то там говорить и ловко опрокидывать стопку за стопкой. Да и старухой она оказалась не совсем обычной — какой-то благообразной, что ли: густые каштановые волосы аккуратно на голове уложены, платье одноцветное под горло, и лицо чистое, без оспин и родинок. В общем, вполне симпатичная баба — хотя и в возрасте, конечно, не молодуха. Если бы не ее раскосые глаза, Потапыч, наверное, подумал, что все это — сон. Но глаза были рядом все время — с черными зрачками, блестящие и бездонные. И это был не сон.

Смерть пила наравне с ним, но хмель ее не брал. Она сидела у окна, положив локоть на подоконник, неторопливо похрустывала капустным листом и как бы между прочим, снисходительно отмахивалась от наскоков Потапыча.

— Никакая я не штука? Просто Смерть.

— Как это просто? Ты мне тут не темни! Как это?

— Как, как. Да вот так! Есть дерево, есть дом, есть жизнь. А есть

Смерть! А есть еще бесполовые старики, которые не могут понять простых вещей! Особенно когда выпьют.

Потапыч обиженно засопел и отвернулся. Смерть некоторое время молча жевала, потом потянулась к старику и по-свойски хлопнула его по плечу:

— Ладно, не дуйся. Ты меня пойми: я тебе уже битый час толкую одно и то же — не зверь я и не человек. И вообще, я не существо никакое, я сама по себе. Смерть, и все тут.

— Ага, не существо, — Потапыч даже не повернул головы, — а капусту хрумаешь — за околицей, наверно, слышно.

— Да это я чтоб тебя уважить! Другой на твоём месте уже давно меня распопер бы — сказал бы: «Пришла — забирай!» — и поминай его. А ты мне сразу понравился — про баньку спросил по-хорошему. И стол накрыл, и даже водочкой угостил. Небось ведь у самого-то кошки на душе скребут — для тебя я и впрямь гостя нежеланная, как чёрный ворон на свадьбе. Но тут уж ничего не поделаешь — эта встреча у нас с тобой последняя. Так что, давай, не печалься. Лучше выпей — да в картишки, что ль, сразимся! Времецко до утра, смотришь, и проканителю. Тем более, давненько я не игрывала!

— Погоди, погоди... — вскинулся старик. — А мы что, с тобой уже встречались разве? До этого?

— Во, запоматывал! Ну ты даешь, старик! Я ж четыре года за тобой по пятам ходила, холодком по спине водила, ежик твой стриженный пулями расчесывала. Да и лицом к лицу было! Как вы говорите: дай Бог памяти?! Так вот, по моей памяти любовались мы с тобой глазки в глазки в сорок втором, по-вашему. Под Воронежем, в родных твоих краях. Ну что, не помнишь? Ну... Бомбежка!

...Июльское солнце немилосердно жгло землю, отбирая последние остатки влаги. Опаленное разнотравье исходило горьковато-терпким ароматом полыни и чабреца. Но до чего был сладок этот аромат!

— Во-оздух!

Истошный крик разорвал полуденный зной. И для трех десятков бойцов, спешно окапывавшихся на склоне высотки, исчезло все, что окружало их за мгновение до крика: и надоедливое гудение шмеля, и стрекот цикады, и жавороночьи переливы, что звенели в выцветшей синеве неба. Исчезло и само небо, и земля, пропал, словно и не было, горьковато-терпкий аромат, окутывавший ее. Будто кто-то вдруг разом захлопнул дверь в тот мир, где все эти звуки и запахи продолжали жить, где в дрожащем мареве трепетал жаворонок, и под огромным выцветшим куполом неба негорюливо кружил шмель, и стрекотали цикады, и где так сладко пахла земля. А в этом мире осталось только одно — ровный, быстро нарастающий гул самолетных моторов. Десятки бешено вращавшихся винтов рвали воздух, сотрясая его и опрокидывая вниз; плотной вибрирующей массой он давил на тела людей, и так донельзя жвавшихся в узкие земляные щели.

А потом тонко и пронзительно запели бомбы.

Поднявшиеся вверх столбы пыли и дыма смешались и повисли над землей. А под этим грязно-серым пологом бушевал огненный вихрь, пожирая и уничтожая все, что встречал на пути. Осколки секли жухлую траву, раскаленными жалами впивались в стволы прилепившихся тут и там на склоне деревьев.

Взрывная волна выдернула солдата из недорытого окопа и отшвыр-

нула в сторону. По обреченному телу метался страх, рвал поджилки, ледяной судорогой сводил внутренности. А солдат стоял на коленях и, запрокинув голову, плакал в небо. Рядом вздыбливалась разрывами земля, и пронзительно свистели бомбы и пришепetyвали осколки.

Солдат плакал, и слезы вымывали на его лице, перепачканном пылью и кровью, извилистые светлые дорожки. Плакал и беззвучно шевелил губами — то ли ругался, то ли умолял небо о чем-то?

Но оно, закрытое грязно-серым пологом из пыли и дыма, не увидело его слез. Небо, оглушенное грохотом, ревом, свистом — не услышало его слов.

Вдруг, почти рядом с солдатом, взметнулся взрыв. Солдат покачнулся — в скользившей по щеке слезинке отразился огромный купол неба — и повалился набок, неловко подвернув руку. Он успел еще почувствовать, как в лицо ему прянуло горьковато-терпким ароматом полыни и чабреца, затем глухая, черная пропасть поглотила его...

## 7

— Ты меня слышишь, старик? Заснул, что ли? Эй!

Потапыч поднял на Смерть невидящие глаза — в них словно застыла выцветшая синева знойного июльского неба.

— Ну что, вспомнил? Пожалела я тебя в тот раз, уж больно горячо ты просил.

Потапыч словно очнулся:

— Да кабы я знал, ради чего ты меня пожалела, я бы сам себе пулю пустил! Да и не просил тебя никто об этом.

— Врешь, старик! Страшно ведь тогда было-то? Я уж знаю.

— Да на что я тебе сдался — жалеть-то? Вроде другое у тебя ремесло, — он кивнул на угол, — ты вон все больше косою любишь приголубить!

— Э-э, старик, честно говоря, я и сама не знаю, чего это со мной тогда приключилось. Обычно-то я жалостливостью не страдаю. Да-а, сколько людей, бывало, о лишней минутке просили.

— А ты?.. Небось шиш кому с маслом: нравится власть свою показывать — вот и измываешься над людьми.

— Ну, старик, это ты загнул! Нет у меня власти никакой, я — простая исполнительница. Хотя... Конечно, кое-что я могу. Но разве это власть — так, призрак. Приговоры не я вам подписываю, судьбу — не я определяю. Там, — Смерть показала на потолок, — там все решается. Не меня тебе винить надо, коль виноватых ищешь. Просто вы, люди, чересчур уж меня боитесь — на что угодно идете, лишь бы от меня спрятаться или убежать. Боитесь — вот и кажется вам, будто я над вами измываюсь. А чего боитесь? Чем для вас жизнь так хороша? Да и вообще, ради чего вы живете-то, а, старик? Ну, ради чего?

Потапыч окинул Смерть сожалющим взглядом и вздохнул:

— Не понять тебе этого все равно. Из другого, видать, теста ты вылеплена и вправду — душу человечью не разумеешь. Вот скажи мне: ты в жару когда-нибудь воды из родника пила? Или огольцом на лошадях в ночное гоняла? А друг у тебя когда-нибудь был? Чтоб последний кусок делил с тобой пополам? Чтоб от пули тебя закрыл? А с сыном ты когда-нибудь на лугу траву косила, чтоб рано-рано, чтоб трава под косою хрустела и чтоб роса под ноги сыпалась, а? То-то! Да и не надо тебе понимать-то. У нас свое, у тебя — свое. Нам пожить поболее хочется, а тут ты под боком шлындраешь.

— «Шлындраешь»... — укоризненно покачала головой Смерть. — Слово-то какое придумал, надо же. Что вы все норовите на этом свете подольше протянуть, это я уже давным-давно поняла. Другого понять не могу: чего ж вы друг у друга-то жизни отымаете? Бойтесь, вам меньше достанется?! Ты вон, старик, даже сына не пожалел.

— Ты что мелешь, дура?! Ты чего выдумываешь-то, а? — Потапыч, с которого при упоминании о сыне слетел весь хмель, сузившимися глазами тяжело, в упор смотрел на Смерть. А в глазах злыми искорками метались тревога и растерянность.

— Сам дурак, — оскорбилась Смерть. — Это вы, люди, любите выдумывать, а у меня такой привычки отродясь не бывало. Ну, чего ты так на меня смотришь? Как было — так и гово... Э-эй, старик! Ты что?! — Смерть вскочила с табурета и неожиданно сильным и ловким ударом в грудь свалила с ног ринувшегося было на нее Потапыча.

Разъяренный старик даже не почувствовал боли и опять бросился к ней. Его била дрожь, глаза налились кровью, он прерывисто, со всхлипами дышал. Трясущимися руками он тянулся к Смерти:

— Это ты все подстроила, сука, да?! Задушу!

Сильный удар снова опрокинул его на пол.

— Так ты на мою доброту отвечаешь?! Я с ним разговоры разговариваю, а он с кулаками. Хорош!

Потапыч, лежа на полу и закрыв лицо руками, тихо плакал.

## 8

— Товарищ командир, а с пленным что будем делать? С собой тащить нам его никак нельзя.

— Не знаешь, что с курвой власовской делать?

— Да ведь щенок еще совсем. Небось не брился-то, поди, ни разу.

— Ты, что, старшина, отпустить его хочешь?! Чтобы этот «щенок» по горячим следам роту немцев сюда привел? Они тебя живо побрекут! Пулю ему в лоб, и весь разговор! Только тихо! Къто там у нас с «бесшумкой»?

Старый лес, только-только надевший свои весенние одежды, будто помолодел.

По тропинке, не замечая ни хвастливо выставленных им напоказ зеленых нарядов, ни счастливого щебетания птах, медленно шли двое.

Первым, прихрамывая, брел парень лет двадцати в расхристанной шинели с болтающимся на одной пуговице хлястиком.

Шагах в пяти позади грузно ступал коренастый солдат в маскхалате, ремень винтовки оттягивал плечо. Размеренно, словно заведенный, он переставлял ноги, отрешенно уставясь в неровно колыхающуюся перед глазами спину парня.

«Помнишь, там метров двести назад — овраг. Мы его обошли. Отведешь туда и шлепнешь. Ветками завали на всякий случай».

Тропинка прихотливо петляла среди помолодевшего, весеннего леса. Ветер лениво шевелил верхушки деревьев. По тропинке шли двое.

Отец и сын.

Они не знали, далеко ли им идти.

Они не знали, что идти им уже недалеко: там, где тропинку перегородило срубленное молнией дерево, они остановятся.

...Они сидели на поваленном дереве почти рядом. Отец и сын. Сидели, как чужие, далекие друг другу люди, и странное витало меж ними — будто что-то незримое плотно разделило их, разделило и — отдалило. Родные чужаки. Чужие друг другу родичи. Отец и плоть от плоти его, кровь родная — сын.

«Как же так, сынок?.. Как же так?..»

«Отец...»

«Как же ты у немца очутился? Ты же... ты же...»

«Отец...»

«Как же ты против Родины пошел? Ты же у меня всегда сильный был, никого не боялся, сколь рубашек в драках изорвал, мать все переживала... Как же ты?..»

«Отец... Я не виноват... Я не знаю, все так непонятно получилось — как-то просто и быстро. Это было как во сне — приснится что-нибудь страшное, хочешь убежать, изо всех сил рвешься, а ни рукой, ни ногой шевельнуть не можешь...»

«Что теперь будет, сынок?! Ведь ты ж предатель теперь... власовец... Господи, что я скажу твоей матери?!»

«...Нас привезли и сразу бросили на передовую. Немцы там прорвали нашу оборону, нужно было срочно закрыть прорыв... Мы не успели еще окопаться, немцы пошли в атаку. С танками, самоходками... Это было страшно. Мы начали стрелять. Но их было много, они лезли и лезли».

«Ты испугался смерти?»

«Отец, мне еще нет и девятнадцати... Там полегла вся рота, и умри я, ничего бы не изменилось, только одним трупом было бы больше. А так — я еще могу...»

«Я ведь тоже ее боюсь. Умирать никому не охота. Но война же... Против нее не попрешь. Бывает, все готов отдать, лишь бы живым выбраться — в такие переделки попадаешь...»

«Отец, за что меня убивать?! За что? Таких, как я, — тысячи, наверно. Моя вина, что я не остался там, что не убит вместе со всеми? Ты считаешь меня трусом, отец? Наверно, тогда я и вправду струсил. Но сгинуть почему зря — зачем, кому это нужно?»

«Ты же не один воевал... Другие-то тоже умирать не хотели! А не стали предателями. А матерям, которые их теперь не дождутся, как ты им в глаза посмотришь?»

«Отец, ну что же мне было делать?! Я ребятам нашим завидую: многие даже понять не успели, что уже убиты! В бою меня не нашла пуля, а самому... Легко сказать: “Живым не сдаваться”! А я не смог, слышишь, не смог!»

«У матери твоей от горя ноги отнялись. В живых-то она тебя и увидеть не чает. А ты — вот он, здоров и невредим, силушки набрался на фашистских харчах. Господи, если б я знал, кто у меня уродится! Как мы с матерью теперь людям в глаза смотреть будем — не пережить нам такого позора. Наш сын к немцам переметнулся — шкуру спасал!»

«Отец, разве было бы лучше, если б меня убили? Помнишь, как мы с тобой ходили косить на луг? Я часто вспоминал... Вжикают косы, роса на ноги сыпется. И нет никакой войны... Отец, я не хочу умирать!»

«Мой сын — предатель!»

«Отец! За всю войну, что мне досталась, я никого не успел убить — никого. И я не хочу никого убивать! Ведь так хорошо жить! Я не нажил-ся бы, наверное, даже если бы тысячу лет прожил. Как же тяжело с жизнью-то расставаться! Хоть бы денек еще, хоть полдня, ну хоть минуточку — родниковой воды зачерпнуть...»

«Мой сын — предатель! Я тебя поил-кормил, вырастил. Я думал, что ты станешь большим человеком, а ты даже просто человеком не смог стать. Ты кому служить пошел? Фашистам проклятым, которые кругом все жгут, разоряют, сколько горя они принесли, людей загубили. Это не люди — изверги рода человеческого. А ты к ним — в прихлебатели, помогать?! Ты против кого ружье-то повернул, а? Против своих, против отца с матерью! Какой же ты мне сын после этого? А если б мы в бою встретились — стрельнул бы?»

«Отец...»

«Или пожалел бы?.. А я б тебя не пожалел — так полную обойму и выпустил бы! Ты теперь как гад ползучий жизнь вымалывать будешь? Так же, как у немцев ее вымолил? А если снова к ним попадешь — снова всех продашь, лишь бы шкура твоя цела была? Опять в меня стрелять пойдешь? В товарищей моих? В мать свою стрелять пойдешь?»

«Отец...»

«Да я тебя, сволочь... Встань!»

— Встань!!

Парень от неожиданности вздрогнул и, чуть помедлив, тяжело поднялся с дерева. В глубине глаз его плеснулся страх.

— Ступай вперед! — от клокотавшей в нем ярости отец дрогнул голо-сом.

Сын не двинулся с места, только руки его нервно мяли края шинели.

— Отец!

— Ступай вперед и не оглядывайся! — Потапыч справился с собой, слова прозвучали уже резко, отрывисто.

Парень медленно, очень медленно повернулся и, перешагнув через дерево, пошел по тропинке.

Вновь перед глазами неровно заколыхалась обтянутая шинельным сукном спина парня.

Мягкий, осторожный щелчок затвора лес не расслышал.

Приклад привычно вжался в плечо, ствол, проплыв по воздуху, замер... «Господи, что я делаю — ведь это же мой сын...» — мелькнула мысль, и палец надавил на спусковой крючок.

Сын словно споткнулся, выставил в стороны руки, будто хотел опереться обо что-то невидимое, и грузно повалился на землю.

И почудилось Потапычу: лес вокруг тихо вздохнул, а его зеленые руки-ветви бессильно поникли...

— Ладно, старик, угомонись. Не вернешь того. Чего ж теперь зазря рыдать? Садись, давай, выпьем еще по стопочке, глядишь — полегчает. Ну, что эт ты совсем ослабел! Погоди, щас помогу. Вот так... — Смерть осторожно усадила Потапыча на табурет.

Старик, обессиленный от слез и воспоминаний, дрожащими пальца-

ми ухватил стакан. Смерть, желая чокнуться с ним, протянула свой, но старик то ли не захотел, то ли не заметил этого.

Смерть обиженно поджала губы.

— Слышь... ты, это... отдала б сына, а... Христом Богом прошу!.. Ничего мне не надо... Рабом твоим вечным буду! Голубушка, отдай! Пусть я тыщу раз помру, самой лютой смертью — его верни!!!

— Да ты что говоришь-то, старик?! — Смерть даже растерялась. — Виданное ли дело — назад вернуть! Не бывало такого никогда, да и не будет. Ты что, рехнулся? Это тебе не в бирюльки играть: захотел — взял, захотел — вернул! Ишь ты...

— Сама же говорила: много можешь. Смоги и это. Я тебя чем хошь отблагодарю. Отдай сына. Ну на что он тебе — пацан ведь еще.

— По мне, вы все одинаковы. Это вы друг для друга молодые-старички, плохие-хорошие, друзья-предатели, красивые да уроды. А для меня все вы на одно лицо: что мужик, что баба. Да и годки-то ваши — что пять, что семьдесят пять — тьфу мне! Я века не замечаю.

— Сердца у тебя нет...

— Это ты правильно сказал: нет у меня сердца. Да оно мне и ни к чему. Вам оно пристало: всю свою жизнь только и знаете, что рвете его, режете, мучаете. То вы любите, то предаете, то ненавидите, то вы ласкаете, то прощаете, то убиваете. Сегодня за какую-то вашу правду на костер идете, а завтра уже с ложью в обнимочку спите. А у меня не так: в моих покоях, там, где властвую я, — всегда холодно и тихо.

И еще что я скажу тебе, старик! У вас, людей, свои законы, у меня — свои. Не нужно мне ничего лишнего, беру я свое — что положено мне, отмерено от века. Я, как нищий с сумой, вам вослед иду, жатву свою собираю. В вашем мире не я суд вершу. Сами вы себе и судьи, и палачи, и жертвы. Мне и подстраивать ничего не надо, вы сами все прекрасно делаете. Как мне положите мое брать — я так и стану. Но уж своего — не отдам! И сын мне твой был ни к чему! Вы, люди, заварили ту кашу, вам ее и расхлебывать — до самого последнего глоточка. А сына ты мне сам отдал, чего ж теперь назад просишь? Ума-разума прибавилось, что ль? Сделал, а теперь жалеешь?! Иль просто потому, что сейчас не война?

Потапыч, не слыша ее, твердил одно: «Отдай, прошу. Ну отдай сына-то, а...»

— А может, старик, ты суд праведный вершил? Это в вашем-то мире, где ложь и вражда правят?! Вот вы все правду ищете. Все ее выстрадать хотите. А зачем вам такая правда? Зачем тебе, старик, такая правда? Ради нее себя губите, ради нее у ближних и дальних жизнь отбираете? Да кто вам право такое дал? Кто сказал, что суд ваш — праведный? Вы вчера так судили, а сегодня по-другому — и все по правде! Господь людей сотворил не для того, чтобы они судили друг друга. Жизнь не вами дадена, не вами и отнимется! Не сыскали вы правды, а уж судите. Не сыскали, а уж жизни лишаете. Да, может, правда-то человеческая ваша — в жизни человеческой и есть? В той, что каждому из вас один раз дана. Неправедно, не по-божески вы мир свой устроили: ни правду, ни жизнь ни за какие богатства не купишь, а продать за тридцать сребреников можно. Иль потерять. И продаете налево и направо, и нет вам удержу.

Ты, старик, у сына жизнь отнял. Ради какой правды? Зачем она тебе? Да и в этом ли твоя правда? Ведь это ты так с вашим человеческим законом расплатился. По высшей ставке расплатился! И потом, наверное, всю жизнь жалел! Ну, скажи, ведь жалел же?! Жалел?

Потапыч побелел и схватился рукой за грудь. Крупные капли пота выступили у него на лбу. С трудом справившись с собой, он покачал головой.

— Не ври, старик! Перед Смертью — как на духу!

— Да кто ты такая? Почему судишь? Мне Бог судья — перед ним от-вечу!

— Бог, говоришь? А сын твой? А жена? Иль не судьи тебе?

И тогда Потапыч, глядя Смерти прямо в глаза и едва шевеля непослушными губами, зашептал:

— Я скажу... Скажу. Изболелся я сердцем. Понимаешь? За что меня так жизнь казнила? Ради чего я столько лет по земле ходил?! Ни жизнь моя, ни смерть никому на свете не нужны. За что судьбу мне такую господь дал — все у меня отобрал — и жену, и сына, жизнь всю поисковеркал... Как выдюжил я, как муки все снес? Ради чего?

Тогда, в лесу, он только одно слово и сказал: «Отец...» До этого молчали мы оба, а будто обо всем поговорили. И — не простил я его...

Старик опустил голову. Смерть молча смотрела на него.

— Я ж тогда одним выстрелом — и сына, и женку свою... И себя. За правду голову под пулю — страшно, а каково столько лет муки невыносимые терпеть! Жить не мог, а помереть — боялся: вдруг я их там... — старик ткнул своим корявым пальцем куда-то вверх, глаза его горячечно заблестели, он снова зашептал: — Вдруг я их встречу, а? А они смотреть будут. Молчать и смотреть...

— Боялся, значит, — Смерть тоже почему-то заговорила шепотом. — Значит, суд твой все-таки неправым был.

— Страшным... Судил и казнил я один, а убиенные — все мы... Слышь-ка, после бани-то телом я чист... — лицо Потапыча искривила судорога, — а ведь кровь на мне... — Он перегнулся через стол и жаркодохнул прямо в лицо Смерти: — Спаси меня — отдай сына. Не могу я. Отдай!

— Все, замолчи, — крикнула Смерть. — Замолчи, я сказала. Мужик ты или тряпка? Тоже мне — солдат! Что ты, как баба, нюни распустил? Давай, это, лучше в картишки перекинемся.

Неизвестно откуда, у Смерти в руках вдруг появилась колода карт.

— Ну, старик...

— Не буду я играть, — еле слышно ответил Потапыч. — Сволочь ты. Сама же говорила: «Другой бы меня давно бы распопер!» Я-то к тебе похорошему, что ж ты ко мне задницей повертываешься?

— Старик, не хитри... — сморщилась, как от зубной боли, Смерть. — Ты ж не на базаре — что торгуешься?! За две кочерыжки да картохи от-варные сына выпросить хочешь? Не дешевишь ли, старик?!

— Все равно платить мне больше нечем. Сбереженьев у меня нету, да деньги тебе небось и ни к чему.

— Ни к чему, — согласилась Смерть. — А вот в картишки не угодно ли сразиться?

Потапыч, хмуро уставившись в стол, молчал.

Смерть с минуту пристально смотрела на него, затем медленно, словно по капле, процедила: «Выиграешь — гляди, и прислушаюсь к твоим мольбам. А, старик?»

— Врешь ведь, — недоверчиво бросил Потапыч.

Смерть усмехнулась:

— Ну, хочешь, крест поцелую?

— Нет, правда? — Потапыч аж привстал. — Отдашь сына?..  
— Если выиграешь. Хотя, мнится мне, добром это для тебя не выйдет. Ну, в общем, поглядим. Пока-то ты еще не выиграл!  
— Хм... Смертушка-голубушка, а ты, часом, все карты наперед не знаешь? Зачем тогда издевку такую творишь?  
— Бог с тобой, старик! Моя власть на них не распространяется. Да и играть я толком не умею.  
— Ага, так я тебе и поверил, держи карман шире! А играть во что, в «дурачка» будем?  
— Хоть и в «дурачка». Умных я за всю свою жизнь еще не видала.  
— Сколь конов?  
— А трех хватит!

## 10

— ...Ну, не кроешь? Ага! А эту?.. Тоже! А вот эту? Тянешь?.. А вот эти тебе — на заедку!!

Смерть подняла глаза на раскрасневшегося Потапыча, немного помедлила, словно размышляла о чем-то, затем бросила свои карты на стол.

— Ну, что ж, старик, радуйся — твоя взяла. И впрямь, видать, бывалый ты солдат — три раза Смерть обыграл. Как это ты ухитрился — ума не приложу? Небось мухлевал, а? Ну, ответь честно, смухлевал хоть разок — не бойсь, не обижусь?!

— Честно я играл... — Потапыч исподлобья следил за Смертью.

А та не спеша потянулась к бутылке, разлила остатки водки по стопкам.

— Ну что, старик, по последней? Приложимся, и баньки. Хорошо мы с тобой посидели — долго не забуду!

— Чего зубы-то заговариваешь? Обманула? «Выиграешь — поглядим». Ну так и гляди, — голос у Потапыча сорвался, он тяжело, прерывисто задышал: — Гляди, стерва... Отдай сына! Ведь выиграл я.

— В карты ты выиграл, это верно, а вот в остальном... — Смерть скептически пожевала губами: — Ну, дело твое. Обещала — выполню.

— Да я, да если ты... — старик аж захлебнулся, не находя слов. Сумасшедшая мысль обожгла его: «Неужто вправду?» Вправду Смерть согласится — и тогда! И тогда душа его измученная обретет, наконец, покой. И он еще поборется с раскосой гостьей. Еще посмотрит, чья возьмет! И они вместе, он и сын, вновь пойдут к реке на луг. Не спеша, уперев косы в носок, пошаркают по ним оселками. А затем, встав друг за другом, широкими взмахами будут укладывать сочную, хрустящую под жалом косы траву ровными рядками, и холодная блестящая роса будет осыпаться им под ноги, и...

— Я тебе сына отдам — делай с ним что хочешь. Понравился ты мне — жалко тебя!

— Ладно, ладно, — засуетился Потапыч.

— Не торопись, все по порядку. Садись! Да не сюда, давай на кровать. — Старик послушно пересел с табурета. — Смотри на меня и молчи.

Потапыч, внимательно и настороженно наблюдавший за Смертью, почувствовал вдруг непреодолимое желание лечь и закрыть глаза. Тело его словно потеряло вес, руки-ноги сделались легкими-легкими. Горестные мысли растворились и покойно стало на душе. Он медленно опустил-ся на подушку и через мгновение уже ровно и глубоко задышал.

— Не завидую я тебе, старик, — вздохнула Смерть. — Эх вы — люди, люди... Ну что ж, кажется, было так: год, по-вашему, вроде сорок четвертый. Весенний лес... Тропинка прихотливо петляет...

## 11

Тропинка прихотливо петляет среди помолодевшего весеннего леса. Ветер лениво шевелит верхушки деревьев. По тропинке идут двое. Отец и сын.

Они уже знают, что идти им недалеко: они остановятся, где тропинку перегородило срубленное молнией дерево.

«Как же так, сынок?.. Как же так?..»

«Отец...»

Мягкий, осторожный щелчок затвора лес не расслышал...

## 12

Смерть долго молча сидела в изголовье у Потапыча. Старик вздрагивал, метался по постели, что-то бормотал и всхлипывал.

За окнами начала неторопливо рассеиваться ночная темь. Где-то на окраине села хрипло пропел петух, ему откликнулись еще несколько.

Смерть наклонилась к старику и положила руку ему на грудь. Ладонь ее ощутила далекие, слабые толчки.

— Прости, старик, но мне пора уходить, — словно извиняясь, медленно проговорила Смерть. — Нам пора уходить, Потапыч, — негромко позвала она. — Потапыч, пойдем...

Потапыч приподнялся и открыл глаза:

— Сын?..

В это мгновение Смерть резко сжала ладонь. Потапыч вздрогнул и повалился на постель. И успело ему еще почудиться: где-то далеко-далеко лес тихо вздохнул, бессильно уронив зеленые руки-ветви.

## 13

Солнечный зайчик подобрался к окну, нашел маленькую щелку между занавесками и нырнул в дом. Там он порезвился на пыльном окладе иконы, мазнул по губам строгого угодника, покачался на стрелках остановившихся часов и, важно проплыв по стене, скользнул на пол. Весело перескочил с одной половицы на другую, с другой — на третью и вдруг словно споткнулся. На полу, неловко подвернув руку, лежал старик.

На улице уже вовсю разгорелся и наполнился своим обычным шумом день. А здесь, в доме, было душно и тихо.

Вот и вся история про старика Потапыча.

